

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

В КРУГЕ ПЕРВОМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын
В круге первом

«WebKniga»

1955-58

Солженицын А. И.

В круге первом / А. И. Солженицын — «WebKniga»,
1955-58 — (Собрание сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1051-9

Во втором томе 30-томного Собрания сочинений печатается роман «В круге первом». В «Божественной комедии» Данте поместил в «круг первый», самый легкий круг Ада, античных мудрецов. У Солженицына заключенные инженеры и ученые свезены из разных лагерей в спецтюрьму – научно-исследовательский институт, прозванный «шарашкой», где разрабатывают секретную телефонию, государственный заказ. Плотное действие романа уместается всего в три декабрьских дня 1949 года и разворачивается, помимо «шарашки», в кабинете министра Госбезопасности, в студенческом общежитии, на даче Сталина, и на просторах Подмосковья, и на «приеме» в доме сталинского вельможи, и в арестных боксах Лубянки. Динамичный сюжет развивается вокруг поиска дипломата, выдавшего государственную тайну. Переплетение ярких характеров, недюжинных умов, любовная тяга к вольным сотрудницам института, споры и раздумья о судьбах России, о нравственной позиции и личном участии каждого в истории страны. А.И.Солженицын задумал роман в 1948–1949 гг., будучи заключенным в спецтюрьме в Марфино под Москвой. Начал писать в 1955-м, последнюю редакцию сделал в 1968-м, посвятил «друзьям по шарашке».

ISBN 978-5-9691-1051-9

© Солженицын А. И., 1955-58

© WebKniga, 1955-58

Содержание

1. Торпеда	6
2. Промах	9
3. Шарашка	11
4. Протестантское Рождество	14
5. Хьюги-Буги	17
6. Мирный быт	21
7. Женское сердце	25
8. Остановись, мгновенье!	29
9. Пятого года упряжки	33
10. Розенкрейцеры	37
11. Зачарованный замок	41
12. Семёрка	45
13. И надо было солгать...	50
14. Синий свет	53
15. Девушку! Девушку!	57
16. Тройка лгунов	61
17. Насчёт кипятка	67
18. Сивка-Бурка	70
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Александр Исаевич Солженицын

В круге первом

Печатается по изданию: Александр Солженицын.

В круге первом. – М.: Наука, 2006, подготовленному М. Г. Петровой.

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.

Его взгляды по этому поводу изложены в работе «Некоторые грамматические соображения»

(Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3.).

В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то уicipанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужасал и искажил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан —1955-1958

искажён —1964

восстановлен —1968

Посвящаю друзьям по шарашке

1. Торпеда

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной.

Стёкла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя всё это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал пёстрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нём.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет – но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но – его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой – пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному-единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного Рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сидение.

А у *тех* пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри – страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато.

Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет *там*?.. В четверг, в пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее – подождать. Разумнее – подождать. Но будет поздно.

О, чёрт – ознобом повело его плечи, непривычные к тяжестим. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгрёб всё со стола и понёс в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильнее и сильнее. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежур-

ному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый смеркающийся день.

От быстрых движений полегчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо изогнутого Воровского, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком – это он сам шёл на линкор – торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому Мосту. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнав его вниз, там велел налево, под перевозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался – откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку – заметнее. Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? и как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечные монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно не опасно – другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь – остаёмся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий – а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет – Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпедке, разворачиваясь получше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошёл по площади, стараясь умерять шаг.

Высохло в горле, во рту – тем высыханием, когда никакое питьё не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красное «М» над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни пёрышка, ни хвостика не оставить ищейкам. Как можно короче сказать – и вешать трубку.

Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка.

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! – а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но, кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шёл дальше, в метро.

Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

– Это секретариат? – он старался изменять голос.

– Да.

– Прошу срочно соединить меня с послом.

– Посла вызвать нельзя, – очень чисто по-русски ответили ему. – А вы по какому вопросу?

– Тогда – поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут – пусть так и будет, второй раз не пробовать.

– Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым в трубку сказали:

– Слушают вас. Что ви хотел?

– Господин военный атташе? – резко спросил Иннокентий.

– Йес, авиэйшн, – проронили с того конца.

Что оставалось? Экрая рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно Иннокентий внушал:

– Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

– Ждите момент, – неторопливо отвечали ему. – Я позову переводчик.

– Я не могу ждать! – кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) – И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! и не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

– Я вас плёхо понимал, – спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался отдалённо в комнате. – Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают рюски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

– Слушайте! Слушайте! – в отчаянии восклицал он. – На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

– Как? Какой авеню? – удивился атташе и задумался. – А откуда я знаю, что ви говорить правду?

– А вы понимаете, чем я рискую? – хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затянулся сигаретой.

– Атомная бомба? – недоверчиво повторил он. – А кто такой ви? Назовите ваш фамилия. В трубке глухо щёлкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

2. Промах

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: «Служебный». Или, поновей, важную зеркальную табличку: «Вход посторонним категорически воспрещён». А то и грозный вахтёр сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как всё запретное, неведь что.

А там – такой же простой коридор, может почище. Средней струёй простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру часто расставлены плевательницы.

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же – все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный, хмуроватый декабрьский вечер в здании Московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе Шестого Управления МГБ как «Пост А-1», – дежурили два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить должно было двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека – инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да ещё и канун западного Рождества.

Одного из них, широконогого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучёбе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на четвёртом объединиться, и это снова правильно, а с пятого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно. Нипочём бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриним мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не ползет, а парторг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из «Краткого курса» к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они ещё не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Ещё с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных причин, их мазали зелёной, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпьями. Боль уже мешала при

ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребёнка – и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешёл удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпьев. При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... А... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?.. И ещё как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона безшумно кружатся, включенные автоматически. Не снимая обнажённой ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

- А откуда я знаю, что вы говорить правду?
- А вы понимаете, чем я рискую?
- Атомная бомба? А кто такой вы? Назовите вашу фамилию.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву, такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны – и тут только сообразил, что, вопреки инструкции, не засёк номера абонента.

Первое движение было – обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит, и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью ещё в одном месте, – и откинул вздорную мысль. Конечно дублируется, и за укрытие такого разговора – расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники».

– Генка! Генка! – хрипло позвал он, спуская брючину. – Аврал! Звони в оперативку! Может, ещё захватят!..

3. Шарашка

- Новички!
 - Новичков привезли!
 - Откуда, товарищи?
 - Приятели, откуда?
 - А что это у вас на груди, на шапке – пятна какие-то?
 - Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли – спорили.
 - То есть как – *номера?!*
 - Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях – номера? Лев Григорыч, позвольте узнать, это что – *прогрессивно?*
 - Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.
 - Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс!
- На цырлах!*
- «Беломор-Ява» или «Беломор-Дукат»?
 - Пополам.
 - Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь.
 - А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?
 - Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.
 - Смотри, новички!
 - Новичков привезли.
 - Э! Орлы! Что вы, живых зёков не видели? Весь коридор загородили!
 - Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!
 - А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?
 - Из разных. Из Речлага...
 - ...из Дубравлага...
 - Что-то я, девятый год сижу, – таких не слышал.
 - А это новые, Особлаг. Их учредили только с сорок восьмого.
 - У самого входа в венский Пратер меня загребли и – в *воронок*.
 - Подожди, Митёк, давай новичков послушаем...
 - Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.
 - Вторая смена! На ужин!
 - Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...
 - Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.
 - Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?
 - Ну, тихо, Валентуля!
 - Простите, как вас зовут?
 - Лев Григорыч.
 - Вы сами тоже инженер?
 - Нет, я филолог.
 - Филолог? Здесь держат даже филологов?
 - Вы спросите, кого здесь *не* держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радиотехники, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.

- И что ж он делает?
- Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! – самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.
- Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую – там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!
- Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?
- Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! Пошло.
- Как вы сказали? Пшённая каша – пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!
- Наверно, не пшённая, наверно, магарá?
- Да вы с ума сошли – магара! Попробовали б они нам магару! Мы б им...
- А как сейчас на пересылках кормят?
- На челябинской пересылке...
- На челябинской новой или челябинской старой?
- По вашему вопросу видно знатока. На новой...
- Что там, по-прежнему ватерклозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в парашаи и носят с третьего этажа?
- По-прежнему.
- Вы сказали – *шарашка*. Что значит – шарашка?
- А по сколько хлеба здесь дают?
- Кто ещё не ужинал? Вторая смена!
- Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный – на столах.
- Простите, как – *на столах*?
- Ну так, на столах, нарезан, хочешь – бери, хочешь – не бери.
- Простите, здесь что – Европа, что ли?
- Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.
- Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.
- Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.
- Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.
- Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте, – от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? – говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не *курочат*.
- Так вы работали на Днепрострое?
- Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижусь.
- То есть как?
- А я, видите ли, продал его немцам.
- Днепрогэс? Его же взорвали!
- Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.
- Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!
- И назад, Валентуля, и – назад!
- Да! и скорей назад, конечно!
- Вы знаете, Лев Григорьевич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии, – никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного

масла!! Чёрный хлеб – на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я – в раю!!

– Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший круг – в первый. Вы спрашиваете, что такое *шарашка*? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался – куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоразумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

Семь раз обвитый стройными стенами...

Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...

...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...

Там были люди с важностью чела,

С неторопливым и спокойным взглядом...

Их облик был ни весел, ни суров...

Я видеть мог, что некий многочестный

И высший сонм уединился там...

Скажи, кто эти, не в пример другим

Почтённые среди толпы окрестной?..

– Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды»: «Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода».

4. Протестантское Рождество

Ёлка была – сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными, наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву – и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины – устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них – крупный мужчина с широкой чёрной бородой – был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира, и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном Hochdeutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхнегерманским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он – только в Пруссии, и то – с фронтом.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин-«звуковок» уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической Германии; а кто попроще, посолдатистей – с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не врася в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена, – и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это, Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светила сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред, в очках, смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших,

тарашил глаза на рождественские лампочки круглолицей, с просвечивающими, как у поросят, розовыми ушами юнец Густав из *Hitlerjugend* (взятый в плен через неделю после конца войны).

И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.

Рубин, одной рукой теребя отступок своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Оберштурмбаннфюрер SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва уместился между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой, беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Рейхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках – в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца – худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? а где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть безпартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным, искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя), – только те из про-

исходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, – было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-би-си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран, и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызовет их отсюда.

А Рубину они – кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти – ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гости несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор – широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством – был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых эзков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки – застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригождались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «Спецтюрьмой № 1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.

Остальные эки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к *оперу* писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведущими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведущие на работу, назывались у арестантов «царские врата»).

Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: «АКУСТИЧЕСКАЯ».

5. Хьюги-Буги

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную – физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радиофирмы «Лоренц».

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный, нежёлтый, рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скорособранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс – расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вокруг тонкого стана, а на груди, в распах комбинезона, виднелась голубая шёлковая рубашка, хотя и линиялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включённым паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряжённо разглядывал радиосхему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

– Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубивая фразы:

– Лев Григорыч! *Отрывайтесь! Рвите когти!* Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать? – и поднял на Рубина очень удивлённые светлые мальчишеские глаза. – Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! – раздельно выговаривал он. – Ведь вы же не инженер!! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

– Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

– Эт-то не мой стиль! Я – первоклассный инженер, учтите, парниша! – резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нём была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни, и движения мальчишечьи, – никак нельзя было поверить, что он кончил институт ещё до войны, прошёл немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

– Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

– Ка-кие ещё характеристики?! – Валентин правдоподобно играл в возмущение. – Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами – ведь я безумно люблю женщин!!

Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки. Ещё один заключённый от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятия.

– Кажется, только теоретически, – скучающим жевательным движением ответил Рубин.

– И безумно люблю тратить деньги!

– Но их у вас...

– Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин – и всё время разных! – надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег – надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер, – надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлиненное лицо Валентули было задорно поднято к Рубину.

– Ага! – воскликнул тот ээк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. – Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! *Колокольчатый* у него! Так я и запишу, а? Такой голос – по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

– Ах, что за чушь! – отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоём они рассматривали молча.

– А порядочно мы продвинулись, Глебка, – сказал Рубин. – В сочетании с *видимой речью* у нас хорошее оружие. Очень скоро мы таки с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

– Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты – слушай.

Они оба нагнулись к приёмнику, но очень мешал джаз.

– Валентайн! – сказал Глеб. – Уступите. Проявите великодушие!

– Я уже проявил, – огрызнулся тот, – сляпал вам приёмник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдёте никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

– Валентин Мартыныч! Это правда невозможно – слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень нравилось...)

– Серафима Витальевна! Это чудовишно! – Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его напереклон и жестикулировал, как с трибуны: – Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный, бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьём! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обозрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! – ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. – Кого-нибудь, *ça dépend!* Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

– Да у него опять *сдвиг фаз!* – тревожно сказал Рубин. – Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз. Валентуля ужаленно повернулся:

– Лев Григорыч! Кто вам дал право?..

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобождённая бегущая мелодия Семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было – уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

– Инженер Пряничков! Вы всё ещё вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Пряничкова посерьёзнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

– Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушёл, подавленный.

Рубин безшумно опустился в своё кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, – и это был скромный, непарадный конец Семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

– Дай по буквам, не слышу, – отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

– Всегда мне не везёт, говорю, – хрипло ответил Рубин, также не поворачиваясь. – Вот – сонату пропустил...

– Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! – проворчал приятель. – А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шёпота. Оборвалась – и всё. Как в жизни... А где ты был?

– С немцами. Рождество встречал, – усмехнулся Рубин.

Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи.

– Молодчик. – Глеб подумал. – Мне нравится твоё отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

– Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот безпартийный мягкий Макс – разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он – не помешал?

– Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину...

– Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я – еврей не больше, чем русский? и не больше русский, чем гражданин мира?

– Хорошо ты сказал. Граждане мира! – это звучит безкровно, чисто.

– То есть космополиты. Нас правильно посадили.

– Конечно, правильно. Хотя ты всё время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты «Дневник социалистического соревнования».

Глеб за эти полминуты рассчитанно-медленно донёс руку до приёмника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживлённое лицо его было усталое, сероватое.

А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко беззаботно напевал:

Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!

6. Мирный быт

Глеб Нержин был ровесник Пряничкова, но выглядел старше. Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостатке свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях – та мудрая скупость, какую природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем всё это была *чернуха*, Нержин *темнил* по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдернул светлую шёлковую занавеску и смотрел в стёкла чёрного окна. За глубиной ночного пространства начинались разные крупные огни Москвы, и вся она, невидимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо тёмно-бурым.

Особый стул Нержина – с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна, – человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, всё открыло бы в Нержине одного из её основателей.

Шарашка названа была Марфинской по деревне Марфино, когда-то здесь бывшей, но давно уже включённой в городскую черту. Основание шарашки произошло около трёх лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка эзков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать Би-би-си в тюремном общежитии (его и глушить ещё не умели); вечерами самочинно гулять по *зоне*, лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы эки не подползали к проволоке); и следить хоть за вечными звёздами, хоть за бранным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания брёвна и катает их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда ещё не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму «Лоренц», хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала всё новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина,

докатилась вот до распознавания голосов по телефону, до выяснения – что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом ещё полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался всё так же через плечо:

– Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

– Поразительно, – буркнул Нержин. – Кажется, ты воевал только четыре года, не *сидишь* ещё и пяти полных? и уже устал? Добивайся путёвки в Крым.

Помолчали.

– Ты – *своим* занят? – тихо спросил Рубин.

– У-гм.

– А кто же будет заниматься голосами?

– Я, признаться, рассчитывал на тебя.

– Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя.

– У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. «Работу актёра над собой». И наконец, уже совсем потеряв стыд, – исследование о принцессе Турандот? Какой ещё зэк в ГУЛАГе может похвастаться таким подбором книг?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

– Странно. Все эти книги, и даже о принцессе Турандот, – с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли?

– Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

– О каких полах?

– На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живёт в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность создателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят – значит, халтурная настилка? и я бессилен исправить!

– Слушай, это драматический сюжет.

– Для соцреализма. А во-вторых: не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам?

Рубин вздохнул:

– И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

– Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы, – это ещё вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый вполоборота: ко всей прочей комнате спинами, а лицами – к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдалённых оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и, с тех пор как звучанье русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина всё время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они – фронтовики; что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском,

и одинаково имели «малый джентльменский набор» орденов; что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же «общедоступному» *десятому пункту*; и оба получили одинаково по *десятке* (впрочем, и все получали по столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу – Нержин был капитаном.

Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и, значит, не был заражён анти-советским зарубежным духом: Нержин был наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин якобы искажил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек *наш*, и потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные, запутанные временные мысли.

Посмотрели ещё туда, в темноту.

Рубин чмокнул:

– Всё-таки ты – умственно убог. Это меня беспокоит.

– А я не гонюсь: умного на свете много, мало – хорошего.

– Так вот на тебе хорошую книжку, прочти.

– Это опять про замороженных бедных быков?

– Нет.

– Так про загнанных львов?

– Да нет же!

– Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?

– Ты должен прочесть её!

– Я никому ничего не должен, запомни! Со всеми долгами расплатёвшись, как говорит Спиридон.

– Жалкая личность! Это – из лучших книг двадцатого века!

– И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять? на чём люди заблудились?

– Умный, добрый, безпредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально-наивный...

– Да ну тебя к шутам, – засмеялся Нержин. – Ты все уши забьёшь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, ещё поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне – ограничиться! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть карту Китая, прислонённую к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил её стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог её пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а остриём иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа:

«Для математика в истории 17-го года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девятистах градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.

Это и никому не удавалось с одного раза».

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электрослесаря. Слышались команды: «Включи!», «Выключи!» Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу «шесть-Ка-семь».

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключённым.

7. Женское сердце

Такая маленькая, что трудно было не назвать её Симочкой, – Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в тёплый платок.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии с конституцией имели самые разнообразные права, и в том числе – право на труд. Однако право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишённые всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд – двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, – с шести вечера и до одиннадцати ночи – вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работою зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтоб заключённые работали, а не бездельничали, чтоб они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтоб они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло ещё и полугода, как Симочка, окончив институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключённые в своём дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату (за звание, на обмундирование), – а требовали только преданности и бдения, лишь потом – грамоты и навыков.

Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие её подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчёнки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная (ещё в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки и хоть совсем не учись – аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время и девочки садились заниматься, – они продирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь непонятный, безвылазый бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучёба; ещё в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да нужно и дома помочь, и в магазины сходить, и помыться, и приодеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студенческое время не погулять, не поплясать – так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться! И вот к экзаменам Симочка и её подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, – но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчётности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да ещё их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату, кажется из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а напротив, поблагодарнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и её подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала – как она будет на производстве?

И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединённого подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе – десятерых выпускниц института связи. Им объяснили, что они попали хуже чем на войну – они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, недостойными той русской речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания; если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается!) – они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность – но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении – спешить к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин – черноватый низенький важный мужчина с седеющим ёжиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, – высказал при этом такую мысль: что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение – например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит – опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключёнными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить того безпросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слёзы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую, и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться.

С тех пор прошло полгода – и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена её убеждённость в чёрных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключённые, работающие во всех остальных комнатах, – кровавые злодеи. Но, каждый день встречаясь с дюжиной эков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупницы славы, – разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение – своими разнообразными позна-

ниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя её комсомольский долг трубил, хотя её любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, – необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к её ближайшему соседу и сотруднику – Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола.

Всё прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всём совершенстве приборов ещё не был изобретён такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слушателей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался – или, по замыслу начальства, должен был заниматься – наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трёхтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин чётко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов, с развевающимися русыми волосами, выкрикивает батарею: «Огонь!» (Этот момент чаще всего показывали в кино.)

Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надолго отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действителен потому, что ненавижу действие». – «А что ж вы любите?» – спросила она с робостью. «Размышление», – ответил он. И действительно, спадал шквал работы – он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чём он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для неё средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо её портил слишком удлинённый нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у неё были скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре – и это тоже не привлекало молодых людей. Так к двадцати трём годам у неё сложилось, что ещё никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отвёрткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса – что теперь будет? и надо было бы оттолкнуться, – она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась страшнейшая минута в жизни – щёки их горели, соединённые, – он не двигался! Потом вдруг охватил её голову и поцеловал в губы. Всё тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

– Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривавших людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера, – девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой, – но у неё не было сил оторваться от рук, запрокинувших её голову.

Первый раз в жизни её целовал мужчина!..

Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.

8. Остановись, мгновенье!

- Чья там лысина сзади трётся?
- Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Давай потрёмся.
- Вообще-то я занят.
- Ну ладно тебе – занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой ёлочки, заговорил что-то о своём блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот – фронт! – нахлынул фронт! – и так живо, так сладко... Слушай, в войне всё-таки есть много хорошего, а?
- До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда: очищение души, Soldatentreue...
- Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...
- Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: «Оружие – орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно».
- Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы?
- Ещё не решено.
- Сперва вспомнил я своих лучших фрицев – как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам: мать, обнявшая детей, потом белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.
- Я помню, я подбирал её.
- И тут сразу наплыло... Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка иняза, кончила в сорок первом, и послали её переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие.
- Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца?
- Ага-га! Удивительно тщеславная была девчёнка, очень любила, чтоб её хвалили за работу (а ругать упаси боже) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном помнишь, вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поужней Подцепочья, – лес?
- Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?
- По этот.
- Ну, знаю.
- Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна, март: ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, и этот, знаешь, запах! воздух! Мы бродили как первовлюблённые, как молодожёны. Почему, если женщина – новая для тебя, переживаешь с нею всё с самого начала, как юноша набухнешь и... А?.. Безконечный лес! Редко где – дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера – сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить «рама». И Милка задумала: не хочу, чтоб её сбивали, зла нет. Вот если не собьют – ладно, останемся ночевать в лесу.
- Ну, это уже была сдача! Где ж видано, чтоб наши зенитчики попали в «раму»!
- Да... Какие были зенитки за Ловатью и до Ловати – все по ней час добрый палили и не попали. И вот... Нашли мы пустой блиндажик...
- Надземный.
- Ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья.
- Там же земля мокрая, не вкопаться.
- Ну да. Внутри – хвои набросано, запах от брёвен смолистый и дымоватый от прежних костров – печек нет, так так прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну и света, конечно, никакого... Пока костёр горел – тени на брёвнах... Глебка! Жизнь, а?!

– Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для эков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава – зелёной. Эк должен верить, что теоретически на свете ещё остались милые живые женщины и они – отдаются счастливым... Ишь ты, какой вечер вспомнил! – с любовницей, да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашёл хорошую войну!.. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны слипшейся *подушечкой*, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней...

– Ну, кори, кори... Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, это значит – совсем их не знать. Это обедняет наш дух.

– Даже – дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину...

– Чепуха.

– А если двух?

– И двух – тоже ничего не даёт. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех – это замысел природы.

– Так насчёт войны! В Бутырках, в 73-й камере...

– ...на втором этаже, в узком коридоре...

– ...точно! молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал сообщениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков – наших и власовцев, все ребята отчаюги, оторви, где только не воевали, – так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели: нет в войне ни хрёнышка хорошего! Я слушал – и молчал. У Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже подсказывали хорошее иногда, – но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то *кое*, что отличало меня, артиллериста при крупных пушках, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте, кроме взятия этой крепости, – полный *придурок*, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя – ценою головы! – отступить. А я – придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

– Да я не говорю...

– ...а приятное всплывает. Но от такого денька, когда «юнкеры» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом, – никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, Лёвка, хороша война за горами!

– Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

– Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

– Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

– Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком – каптёром или банщиком, да жил *в законе с шалашовкой*, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие *счастья* – это условность, выдумка.

– Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от счасье, то есть *этот час, это мгновение!*

– Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. «Счастье» происходит от со-частье, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья.

– Подожди, так моё объяснение – тоже из Даля.

– Удивляюсь. Моё тоже.

- Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!
- Маньяк!
- От дурандая слышу! Давай сравнительным языкознанием заниматься.
- Всё происходит от *руки*? Марр?
- Ну, пёс с тобой, слушай – ты вторую часть «Фауста» читал?
- Спроси – читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.
- Нет, первая часть доступна, чего там!

Мне нечего сказать о солнцах и мирах, —
Я вижу лишь одни мученья человека...

- Вот это до меня доходит!
- Или:

Что нужно нам – того не знаем мы,
Что знаем мы – того для нас не надо.

- Здорово!

– А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея! Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем: только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но всё, что ни раскладывает Мефистофель перед Фаустом, – возвращение молодости, любовь Маргариты, лёгкая победа над соперником, безкрайнее богатство, всеведение тайн бытия, – ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, для циничного Мефистофеля затемнённом и безумном, засверкала великая идея – осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада, лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. Что это? – спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутив, что принёс пользу человечеству, и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Но разобраться – не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший? – и лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это – гимн счастью или насмешка над ним?

– Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю – когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.

– Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из «Фауста» на одной из своих довоенных лекций, – а они тогда были чертовски смелые! – я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

«А вот я люблю – и **счастлива**! Что вы мне на это скажете?»

– И что ты сказал?..

– А что на это скажешь?..

9. Пятого года упряжки

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своём поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной. Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил, как поведывают давно выношенные мысли:

– Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье, – я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живём – и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо – вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья, – разреши, мы сперва разберём природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую, полуводяную – без единой звёздочки жира! – ячневую или овсяную кашу! Разве её *ешь*? разве её *кушаешь*? – ею причащаешься! к ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь её медленно, ешь её с кончика деревянной ложки, ешь её, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде, – и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге,

соединяющей их. И вот, по сути дела, питаюсь *ничем*, ты живёшь шесть месяцев и живёшь двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он размётывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

– Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаём природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: «Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен».

Рубин усмехнулся:

– Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и всё вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

– Не путай, Лёвка, совсем не так! Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно *свои* выводы сформулировать – зачем мне открывать ещё раз Америку? На планете философии все земли давно открыты! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на шарашке, если выдастся такое чудо – тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам, или прочтёшь искреннюю страницу, – и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен – и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях блаженства! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!

Рубин добро оскалится. В этом оскале было и немного согласия, и немного снисхождения к заблудшему младшему другу.

– А что говорят по этому поводу великие книги Вед? – спросил он, вытягивая губы шутиливой трубочкой.

– Книги Вед – не знаю, – убеждённо парировал Нержин, – а книги Санкья говорят: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать».

– Здорово ты насобачился, – буркнул в бороду Рубин.

– Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков?

– Это тебя Митяй сбивает?

– Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая! Слушай! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения – есть *страдание*. Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее, – и я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотье за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму, – он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника (а именно так и приходилось ему в тюрьме).

– Внемли, дитя! В тебе сказывается неокрепость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной парашаи – и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба, – как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?

– А ты гордишься своим постоянством?

– Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.

– Каменный лоб! Вот это и есть метафизика! Вместо того чтобы здесь, в тюрьме, учиться, выпитывать новую жизнь...

– Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?

– ...ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу – и в этом видишь свой ум? в отказе от развития – ум? в торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

– Да не вера – научное знание, обалдон! и – безпристрастность.

– Ты?! Ты – безпристрастен?

– Аб-солютно! – с достоинством произнёс Рубин.

– Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!

– Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Всё идёт туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

– Лев, пойми! Я не с радостью – я с болью сердечной расставался с этим учением! Ведь оно было – звон и пафос моей юности, я для него всё остальное забыл и проклял! Я сейчас – стебелёк, расту в воронке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били...

– Потому что у тебя ума не хватало, дура!

– ...я по честности должен был отбросить ваши хилые построения. И искать другие. А это нелегко. Скептицизм у меня, может быть, – сарай при дороге, пересидеть непогоду.

– Утки в дудки, тараканы в барабаны! Ске-епсис! Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений – а ты обо всём лезешь с приговором! Скептику положена атараксия, душевная невозмутимость, – а ты по каждому поводу кипятишься!

– Да! Ты прав! – Глеб взялся за голову. – Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят – и я кружусь, огрызаюсь, негодную...

– Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джекказгане не хватает питьевой воды!

– Тебя бы туда загнать, падло! Изю всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы...

– Да! Без твёрдой пенитенциарной системы государство существовать не может...

– ...Так вот тебя и загнать в Джекказган! Что ты там запоёшь?

– Да дурак ты набитый! Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин!

– А ну? Что – Ленин? – Нержин притих.

– Ленин сказал: «у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к холуйскому грязному либерализму».

– Как-как-как? Ты не переврал?

– Точно. Это из «Памяти Герцена» и касается...

Нержин убрал голову в руки, как сражённый.

– А? – помягчел Рубин. – Схватил?

– Да, – покачался Нержин всем туловищем. – Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился!..

– А что?

– Что?? Это – язык великого философа? Когда аргументов нет – вот так ругаются. Рыцари языкоблудия! – произнести противно. Либерализм – это любовь к свободе, так он – холуйский и грязный. А аплодировать по команде – это прыжок в царство свободы, да?

В захлёбе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер её дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в её сторону.

– Нет, у тебя таки совсем вывернуты мозги, – отчаялся Рубин. – Ну, определи лучше.

– Да хоть какой-то смысл будет сказать так: скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов.

– И кто ж тут догматик? Я, да? Неужели я – догматик? – Большие тёплые глаза Рубина смотрели с упрёком. – Я такой же арестант *призыва* сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что всё до сердцевины гниль, – я бы первый сказал: надо выпускать «Колокол»! Надо бить в набат! Надо рушить! Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений! не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом!.. Но я знаю, что гнило – только по видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит, надо спасать, а не рубить!

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

– Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века: *два мира – две системы!* и третьего не дано! и никакого «Колокола», звон по ветру распускать – нельзя! недопустимо! Потому что выбор неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?

– Да пошёл ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих «двух мирах» он под себя всех и подмял.

– Глеб Викентьич!

– Слушай, слушай! – теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон. – Это – величайший человек!

– Тупица! Боров тупой!

– Ты когда-нибудь поймёшь! Это вместе – и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он – мудр! Он – действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды...

– И ещё смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам подсовывает...

– Глеб Викентьич!

– А? – очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

– Вы не слышали? По телефону звонили! – очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе серый платок козьего пуха. – Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

– Да-а?.. – На лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места. – Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Лёвка, – Антон. С чего б это?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд её, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

– Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство, – сказал он.

– С чего бы? – пожимал плечами Нержин. – Уж такая у нас второстепенная работёнка, какие-то голоса...

– Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов, – засмеялся Рубин. – А может, насчёт артикуляции Семёрки?

– Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

– Да глупости!

– Чего глупости? Наша жизнь такая... Сожжёшь там, знаешь где. – Глеб защёлкнул шторы тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошёл неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждёт только худшего.

10. Розенкрейцеры

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол *вольного* дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз, и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, ещё в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть, чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

– Садитесь, Глеб Викентьевич! – несколько хохлясь в своём полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключённых с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими, – и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

– Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал – каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману?

Яконов произнёс эту фамилию с откровенной небрежностью и даже – перед подчинённым Ройтмана! – не присовокупив к фамилии звание майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнёсся к Семёрке не как к дорогому покойнику, а как к трупку безвестного пьяницы, найденному под марфинским забором. Семёрка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

– ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается!)

– ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишаящим вас славы некоего русского Харви Флетчера...

(Нагло издевается!)

– ...Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я – человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и ещё не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобразных суждений.

– Ну, так-таки вас спросить откровенно – ну что вы там сейчас делаете, в Акустической?

Нельзя было придумать вопроса безпощаднее! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

– Какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной – «стыр», «смыр»? Вы – математик? Универсант? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое, а трое! Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в чёрном. Круглые светлые очки поблёскивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренёва, довоенного доцента в своём Университете. Однако по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним – заключённый, и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренёв улыбался, но тоже казался смущённым. Голос Яконова успокоительно рокотал:

– Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставляю вас на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением.

И Яконов поднял из полуторного кресла своё представительное, нелёгкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понёс его к выходу. Когда Веренёв и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину – привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые «боксы» и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки «вагон-заков». Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками. Через всё это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буквы функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Оба закурили, Нержин – волнуясь, и сели, разделённые маленьким столиком.

Веренёв не в первый раз встречал своих прежних студентов – по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твёрдой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: уединённость подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетённого многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал – застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии учёного: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К..., защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва... Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвёртом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока...

Мне нечего сказать о солнцах и мирах, —
Я вижу лишь одни мученья человека...

А как он попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей – контузило, убило. Такие вечно лезут вперёд, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя – или аспирантуру кончает, или ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша – Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской?!

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных «профессорских» анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов, как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм – из Милуоки, Кейптауна, Иокогамы. А в 30-м году, когда университет перестрапали в «индустриально-педагогический институт», – был *вычищен* пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым, – говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привёз указание: этого не трогать!

И не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога. То на публичной лекции о своём кумире Ньютоне прогудит из-под жёлтых усов:

– Тут мне прислали записку: «Маркс написал, что Ньютон – материалист, а вы говорите – идеалист». Отвечаю: Маркс передёргивает. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный учёный.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал – и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём, деля работу, записать, а за вечер разобрать – душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба.

Так что же с ним?.. При бомбёжке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренёв точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший, Ставка, говорят, сейчас грузчиком в нью-йоркском порту.

Нержин внимательно смотрел на Веренёва. Учёные головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари – это была недоработка, временный загиб; дети припомнили унижения отца – это грязное предательство. И кто это знает – грузчиком, не грузчиком? Оперуполномоченные формируют общественное мнение...

Но за что... Нержин *сел*?

Нержин усмехнулся.

Ну, а за что всё-таки?

– За образ мыслей, Пётр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

– В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

– У нас-то он как раз и есть и называется *Пятьдесят восемь – десять*.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свёл его с Веренёвым. Шестое Управление прислало Веренёва для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Пётр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придётся сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутофорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были – его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечёт его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницей одной пошевелинуть – и отлетит у Нержина голова? Как говорится – *что тебе надо больше всех?* Больше всех – что тебе надо?

Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?.. Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок... Мёртвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни?

Зато – шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не опершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валиться на доски замертво безчувственным бревном, в грязных чунах, – с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем – ты, если ничего, кроме тебя?.. Все доводы разума – да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца – отойди от меня, сатана!

– Пётр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

– Как вы сказали?

– Я говорю: сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

– Я, простите, не понимаю...

– Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок, – ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею – как проживу? Там – медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции ещё три мезозойских эры никому не понадобятся.

– Что вы говорите, Нержин?! В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

– Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: «одна дяка, что за рыбу, что за рака». Дяка – это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них дяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду!

Дверь растворилась. Вошёл осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу.

– Ну как, розенкрейцеры? Договорились?

Не поднимаясь, твёрдо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил:

– Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической лаборатории незаконченной.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

– Математика! – и артикуляция... Вы променяли пищу богов на чечевичную похлёбку. Идите.

И двучетным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

«Нержина – списать».

11. Зачарованный замок

Уже много лет – военных и послевоенных – Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела Специальной Техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаёмкой и тремя крупными звёздами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высокочинными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долблённые корыта их чёрных гробов, или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого Хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлётов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию – такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с жёлтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

– За-чём мне эти передатчики? Квар-тырных варбв ловить?

И сроку дал – до первого января сорок девятого года. Потом подумал и добавил:

– Ладна, да первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали – и определили Яконову вытаскивать Марфино самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами – Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упразднённого алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверцу в персональной «победе», убаюканно домчаться в Марфино; миновать в оплетенных колючкою воротах вахтёра, отдающего приветствие; и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами марфинской рощи. Начальство ещё ничего не требовало от Яконова – только планы, планы, планы и сообразительства. Зато рог изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом: английская и американская покупная аппаратура; немецкая трофейная; отечественные эки, вызванные из лагерей; техническая библиотека на двадцать тысяч новинок; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые – для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских, – и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрёпанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвёртом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому

взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрусталя, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре – германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории! Всё это было изложено в рапорте заключённого Рубина на имя инженер-полковника, и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шишкину и Мышину (в арестантском просторечии – Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей оплошности? А момент всё равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущерблённой секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк; зэки же с покриванием «раз-два-взяли!» опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами – в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделённом от столицы и её несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в чёрных бушлатах создавали сказочные перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоучреждённое заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате ещё один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками-скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с китайской провинцией Юнь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

– Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником связи? Убери.

И Мамурина убрали – то есть посадили на Лубянку. Его убрали, однако не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний – судить ли, и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули *четвертинку* и закатали бы в Норильск. Но, помня истину «сегодня ты, а завтра я», вершители МВД попридержали Мамурина; когда же убедились, что Сталин о нём забыл, – без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на Марфинскую шарашку привезли нового зэка. Всё было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой *вертухай*, а Начальник Отдела Тюрем МГБ; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но они всегда всё слышат) – слышали, как приезжий сказал, что «колбасы он не хочет» (?!), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его «покушать». Подслушал это через перегородку зэк, который пошёл к врачу за порошком.

Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий всё-таки арестант, и, удовлетворённое, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь – историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

– Ну, браток, – толкнул он его в грудки, – откуда? На чём погорел? Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледно-лимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

– Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами – разговоришься!

Но «гада из стеклянной банки» в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотографов, втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходявшее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница – на север, так что свет и днём еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, определило всё же решётку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего Железной Маской. Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было не дозволено. Железная Маска был так жёлт и тощ, как бывает доходной зэк после хорошего двухлетнего следствия, – однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал являться на работу в Семёрку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарш и кричал:

– Ты *мимо чьего* кабинета топаешь, хам?? Как твоё фамилие?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своём одиночестве он всё читал книги – «Борьба за мир», «Кавалер Золотой Звезды», «России верные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачёва – и! – с ним случилось чудесное превращение: он и сам стал писать стихи! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острее, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна (ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьёй (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночёвкой), вообще – не примитивные животные потребности, – горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелее переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но, услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него, – всё же своё время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурин стегало безутишное, как зубная боль, стремление – оправдаться перед партией и правительством. Увы, всё знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому *работать* он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководство делом заведомо гиблым, не могло

вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надёжным.

К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадёживающих дела: Вокодер и Семёрка.

По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и лишь, впряжённые более тяжёлой рукой в одну колесницу, не могли из неё вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы «вокодер», что значило по-английски voice coder (кодированный голос), а по-русски было окрещено «аппарат искусственной речи», но это не привилось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы: самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в «семёрку», лабораторию № 7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семёрку и потому, что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчинённому Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте – разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щёк, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переводя Семёрку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семёрке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семёрку, и пошёл Яконов, когда оставил Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

12. Семёрка

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара, – так и среди трёхсот эков Марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семёрка.

Все в институте знали её истинное наименование – «лаборатория клиппированной речи», но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово *клиппированная* было с английского и означало «стриженная речь». Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый, глуповатый столяр, знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, однако принято было, что – только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клиппировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в нескораемых шкафах.

Клиппирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолётом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибора, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да ещё воссоздать её так, чтоб не только было всё понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовой скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней эки получали всё – свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве; остальные же не получали ничего – ни дня скидки со срока, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, эки могут ногтями удержаться на вертикальном зеркале, – самые цепкие арестанты старались попасть в Семёрку, чтоб из неё *выскочить* на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семёрку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осуждённый на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. (В шутку Амантая считали старейшим работником *фирмы*, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как татарин был извлечён немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда её руководители ещё подписывались в письмах «mit Neil Hitler!».) Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфино он попал по ошибке неосведомлённого чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛАГа. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфине быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радиоизмерений.

Ещё тут был инженер Хоробров, большой знаток радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семёркой, никак не включался в её бешеный темп – и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец, долгоруким молниевидным *спецнарядом* сюда, в марфинскую Семёрку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря, мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин – и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семёрка была такая же комната, как Акустическая, только этажом над ней. Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в её углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семёрке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперёд и захлопотали ещё радостней и быстрее, да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер – в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтён, и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых эков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его измождённого лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и безкровных губах нежилца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

– Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс – и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю.

«Почитать» и «послушать» – это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день – добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчёта не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкорышом Нержиным.

Привычно подчинённые единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, – Мамурин пошёл в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включённые на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось нечто ужасное: звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродства своего детёныша, так Яконов не только не сдёргивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное нарочито-чёткое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок, – поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это – угадка, и забывал, что это угадка, и всё более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые причёски, Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фотоосциллограммы, мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, безправнее колхозника. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!

Можно построить Эмпайр-стэйт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал всё это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его, – негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

– Лучше, Яков Иванович, определённее лучше! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него *ухо хорошее*. Безсознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией, – но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего «хорошего уха» он и держался тут прочно, пока ещё прочней не окопался капитальной работой «Русская речь в восприятии слухо-синтетическом и электро-акустическом».

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряжёнными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что – лучше, что намного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он ещё до перестройки знал, что будет лучше). Булатов заволновал на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Сиромеха, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Чёрная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семёрки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в нескораемый шкаф, зэки – уходить спать, а вольные – бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжёлой поступью прошёл за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятч, и из самого медвежьего угла – из-под Кая, откуда сплошным тысячевёрстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛАГ. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять своё ощущение справедливости – пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засеивались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка – и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь! – под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере.

Сейчас благоразумие требовало, чтоб он толпошился среди общей работы Семёрки и обезпечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от неспра-

ведливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нём до той высоты, когда уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

– Андреич! Смываться пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защёлку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

– Как, Терентьич, подходит? По цвету?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

– Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы «Правды»: время работает на нас. Антон уйдёт – и мы тот-час-же испаримся.

У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нерабоче, хотелось только идти скорей в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семёрки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «Жирные сазаны ушли под палубу» и «Вспомнил, прыгнул, победил» – известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звуко сочетаний. Наконец он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, ещё беспокоит его форманта «ж» и вовсе не идёт столь характерное для славянских языков сочетание согласных «всп», над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо:

– Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твёрдым, неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал к портсигару розовую защёлку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях – и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да ещё и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресенья!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину:

– Илья Терентьич! А вы почему не слушаете? Вообще – куда вы направились?

Хоробров так же неторопливо обернулся и, искажённо улыбаясь, ответил раздельно:

– Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдётся всё благополучно – проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей трусливой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

– То есть как это – спать? Все люди работают, а вы – спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

– Да так – просто **спать!** Я по конституции свои двенадцать часов отработал – и хватит! – И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась – и дежурный по институту объявил:

– Антон Николаич! Вас – срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровым.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой ещё до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство, на Лубянку.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина – списать» добавил:

«и – Хороброва».

13. И надо было солгать...

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но ещё не почувствовав его до конца, вернулся в Акустическую, – Рубина не было. Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

– Спокойно, парниша! – задержал он Нержина взброшенной пятернёй, как автомашину. – Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? – и вспомнил: – Да! а зачем вас вызывали? *qu'est-ce qu'il est passé?*

– Не хамите, Валентайн, – хмуро уклонился Нержин. Этому однопанцу своей науки он не мог бы признаться, что отрёкся, только что отрёкся от математики.

– Если у вас неприятности – могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его...? ну, папираса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это:

Моя милиция —
Меня стережёт!
В запретной зоне —
Как хорошо!

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду:

– Вадька! Осциллограф включи-ка!

Нержин подошёл к своему столу, ещё не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки её подрагивали.

– А где Борода, Серафима Витальевна?

– Его тоже Антон Николаич вызвал, в Семёрку, – громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, ещё громче, слышно всем, попросила:

– Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Ещё есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.

– Где ж я вас проверю в таком шуме?

– А... в будку пойдёте. – Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую, аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь, и, ещё шторы не сбросил, Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы.

Он подобрал её на руки, лёгкую, – было так тесно, что носки её туфель стукнулись о стену, сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.

– Что вас Антон вызывал? Что было плохого?

– А усилитель не включён? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать?..

– ...Что было плохое?

– Почему ты думаешь, что плохое?

– Я сразу почувствовала, когда ещё звонили. И по вам вижу.

– А когда будешь звать на «ты»?

– Пока не надо... Что случилось?

Тепло её незнакомого тела передавалось его коленям, и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности не у каждого обильна.

Симочка была удивительно легка: кости ли её надуты воздухом, из воска ли её сделали – она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объёме перьями.

– Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала:

– Ку-да-а?

– Как куда? Мы – люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли, – в лагерь, – рассудливо объяснял Глеб.

– За что-о-о-же?? – не словами, а стоном вышло из Симочки.

Глеб смотрел близко и даже недоуменно в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.

– Можно было и остаться. Но в другой лаборатории. Мы всё равно не были бы вместе.

(Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле таково было арестантское крайнее положение, что, и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом, и оставшись в Акустической – с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки.)

А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала.

Эти минувшие недели, после первого поцелуя, – зачем было шадить Симочку, жалеть её призрачное будущее счастье? Вряд ли найдёт она жениха, всё равно достанется кому-нибудь так. Сама идёт в руки, и с таким испугом стучит у обоих... Перед тем, как нырнуть в лагерь, где уж этого ни за что не будет...

– Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоём... о твоей...

Она стремглав опустила смущённое лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

– Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними головку. Что ты замолчала? А ты – хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

– Я буду вас ждать! Вам – *пять* осталось? – я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь, – вернётесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но всё равно как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, ещё были в письменном столе захороненные – его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли. Его первые нащупывающие формулировки.

Ни клочка записей не выпускали с шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать её маленькие неокруглые плечи, оголённые из-под блузки его руками.

– Ты меня как-то спрашивала, что я всё пишу да пишу, – с затруднением сказал он.

– А что? Что ты пишешь? – любопытно спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно, – он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила – и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволоочки мин, проволоочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые, любящие глаза – они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он – она. Так это могло быть подстроено!..

– Так, историческое, – ответил он. – Вообще историческое, из петровских времён... Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет – я ещё буду писать. А куда я всё дену, уезжая?

И подозрительно углубился глазами в её глаза.

Симочка покойно улыбалась:

– Как – куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый. – И ещё высматривала в нём: – Скажи, а твоя жена – очень красивая?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что её стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а – раскраснелая, в растрёпанной одежде – стала читать безразличным мерным голосом артикуляционную таблицу:

– ...дьер... фскоп... штап... Да, я слушаю... Что, Валентин Мартыныч? Двойной диод-триод?... Шесть-Гэ-семь нету, но, кажется, есть шесть-Гэ-два. Сейчас я кончу таблицу и выйду... гвен... жан... – и отпустила клапан. И ещё тёрлась головой о грудь Глеба. – Надо идти, становится заметно. Ну, отпустите меня...

Но в голосе её не было никакой решительности.

Он плотней охватил и сильно прижал её к себе вверху, внизу, всю:

– Нет!.. Я отпускал тебя – и зря. А вот теперь – нет!

– Опомнитесь, меня ждут! Надо лабораторию закрывать!

– Сейчас! Здесь! – требовал он.

И целовал.

– Не сегодня! – возражала она, послушная.

– Когда же?

– В понедельник... я опять буду дежурить, вместо Лиры... Приходите в ужинный перерыв... Целый час будем с вами... Если этот сумасшедший Валентуля не придёт...

Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застёгнута, причёсана и вышла первая, неприступно-холодна.

14. Синий свет

- Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала.
- Не попадёшь.
- С пяти метров – чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?
- Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.
- Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают – лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.
- Синий свет?
- А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Ивановыч, вы не спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.
- Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?
- Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.
- Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.
- Мама! – в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу – о мытье мисок, о подметании пола – вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.
- А что, лампадке здесь было бы под стать. Ведь это – бывший алтарь.
- Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.
- Дмитрий Александрович! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.
- Господа! Кислород как раз и делает зэка безсмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе – ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.
- И даже на полтора! На верхних койках духотища!
- Эренбурга вы как считаете – по ширине?
- Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.
- С ума сойти, где мой лагерный бушлат?
- Всех этих кислородников я послал бы на Оймякон, на *общие*. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков – в козлятник бы приползли, только бы тепло!
- В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я – за подогретый кислород.
- ...Что за чёрт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?
- Валентуля, вы фраер! Вы бродили б ещё до часу! Какой вам свет в двенадцать?
- А вы – пижон!

В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
Как хорошо!

- Опять закурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость... Э-э, и чайник холодный.
- Валентуля, где Лев?
 - А что, его на койке нет?
 - Да книг десятка два лежит, а самого нет.

- Значит, около уборной.
- Почему – около?
- А там лампочку белую вкрутили и стенка от кухни тёплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать?
- Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная...
- Друзья, я вас прошу – о чём-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей – это социально опасный разговор.
- Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.
- Не то что отбой, – по-моему, уже гимн слышно откуда-то.
- Спать захочешь – уснёшь небось.
- Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?
- А позывные? Для такой страны, как Россия?! Жабьи вкусы.
- В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо? – жарко очень и воды нет...
- В Ледовитом океане есть остров такой – Махоткина. А сам Махоткин – лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.
- Михал Кузьмич, что вы там всё ворочаетесь?
- Ну, повернуться с боку на бок я могу?
- Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот вниз – отдаётся здесь, наверху, громадной амплитудой.
- Вы, Иван Иванович, ещё лагерь миновали. Там – *вагонка* четверная, один повернётся – троих качает. А внизу ещё кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведёт – и навораживает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.
- Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?
- Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.
- Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет – на полу не оставит, под голову ложит.
- В те года на полу не оставляй!
- В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут – и музыка играет.
- Рыбалка там замечательная – это одно, а другое – охота. Осенью час походишь – фазанами весь изувешан. В камыши зайдёшь – кабаны, в поле – зайцы...
- Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом – рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят – скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом – основная идея шарашек.
- ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!
- Валька, не скули, подушкой наверну!
- Куда, Валентуля?
- Как повезли?
- Младшина пришёл, сказал – надеть пальто, шапку.
- И с вещами?

– Без вещей.
– Наверно, к начальству большому.
– К Фоме?
– Фома бы сам приехал, хватай выше!
– Чай остыл, какая пошлость!..
– Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!
– Спокойно, а как же мешать сахар?
– Беззвучно.
– Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда – мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадёт, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце – Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?

– Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!
– Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный... *C'est le mot!* Он хочет жить!
– Валька! Куда повезли Бобынина?
– Откуда я знаю? Может – к Сталину.
– А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?
– Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!
– Ну, по каким, например?
– Ну, по всем, по всем, по всем. *Par exemple* – почему живём без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.

– Пряничик! Заткнись! Все спят давно – чего разорался?
– Но если я не хочу спать?
– Друзья, кто курит – прячьте огоньки, идёт младшина.
– Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант, – долго ли нос расшибить?

– Пряничиков!
– А?
– Где вы? Ещё не спите?
– Уже сплю.
– Оденьтесь быстро.
– Куда? Я спать хочу.
– Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.
– С вещами?
– Без вещей. Машина ждёт, быстро.
– Это что – я вместе с Бобыниным поеду?
– Уж он уехал, за вами другая.
– А какая машина, младший лейтенант, – воронок?
– Быстрой, быстрой. «Победа».
– Да кто вызывает?
– Ну, Пряничиков, ну что я вам буду всё объяснять? Сам не знаю, быстрой.
– Валька! Сказани там!
– Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?
– Про прогулки скажи!
– Про письма!..
– Про обмундирование!
– Рот фронт, ребята! Ха-ха! *Адъё!*
– ...Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Пряничиков?

- Даю, даю, товарищ майор! Вот он!
- Про всё, Валька, кроши, не стесняйся!..
- Во псы, разбегались среди ночи!
- Что случилось?
- Никогда такого не было...
- Может, война началась? Расстреливать возят?..
- Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас – по одному возить? Когда война начнётся – нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях, в сорок пятом...
- Ну ладно, спать, братья! Завтра узнаем.
- Это вот так, бывало, в тридцать девятом – в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия, – уж он с пустыми руками не вернётся: или начальника тюрьмы переменим, или прогулки увеличат... Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам – сорок грамм сливочного масла, а простым лошадам по двадцать... Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное...
- Умер?
- Нет, освободился... Лауреатом стал.

15. Девушку! Девушку!

Потом стих и мерный усталый голос *повторника* Абрамсона, побывавшего на шарашках ещё во время своего первого срока. В двух сторонах дошёптывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырёхстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната, – может быть, единственная такая в Москве, – имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху – просторный купол, сведённый парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге – пять стройных, скруглённых поверху окон. Окна были обрешечены, но *намордников* на них не было, днём сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необхоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних верхних койках – слева, через проход, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик «Земеля» (под ним пустела кровать Пряничкова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых молодых эков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал всё ясней: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь – и, может быть, очень вскоре – тяжёлый долгий этап куда-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трёхлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год (не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату). Середина ли это жизни? Почти конец её? Только начало?

Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость: ведь ещё не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что одиннадцать месяцев ему всё откладывают и откладывают свидание с женой – и уж теперь дадут ли до отъезда?

И наконец просыпался и раскручивался в нём – нахрап и хват, совсем не он, не Нержин, а тот, кто вынужденно выпер из нерешительного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки, а потом утверждался всей жизненной обстановкой, и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие обыски ждут – на выходе из Марфина, на приёме в Бутырки, на Красную Пресню; и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля; как суметь вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каждая лишняя шкура дорога); как доказать, что алюминиевая чайная ложка, весь срок возимая им с собой, его собственная, а не украдена с шарашки, где почти такие же.

И был зуд – прямо хоть сейчас, при синем свете, вставать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положения: он валился ничком, по самые плечи уходя в подушку, натягивая одеяло на голову и стаскивая с ног; потом переплывался на спину, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунул назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там на углу матраса томищу Моммзена, «Исто-

рию Древнего Рима». Заметив, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шёпотом попросил:

– Глеб! У тебя есть близко папиросы? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика, – под клубом вольных тёмно-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

– На́ вот, – подставил ему Нержин пустую пачку из-под «Беломора» вместо пепельницы. Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять), в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений, – не так двумя неделями учёбы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. Со мгновенной переимчивостью, как говорится – с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛАГа, всегда был насторожен, лишь с немногими – откровенен, а со всеми – только казался ребячески откровенным. Ещё он был кипуч, старался уместить много в малое время – и чтение тоже было одним из таких его занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и ещё меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкнувшей комнаты спросил шёпотом:

– Ну? Как теория циклов?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шёпот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чём его спросили.

– Как с теорией цикличности, говорю?

Руська вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль. Он обвис, сполз на локоть, бросил погасший недокурочек в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

– Всё надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин хотел уж отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

– История до того однообразна, что противно её читать. Всё равно как «Правду». Чем человек благородней и честней – тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов – и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ – и казнён, будто бы он добивался царской власти. Марк Манлий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий, – казнён как государственный изменник! А?..

– Да что ты!

– Начитаешься истории – самому хочется стать подлецом, наиболее выгодное дело! Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали, – этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Всё – уже было... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Ещё этолийцы, задолго до нас, объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Ещё в Риме выяснили

истину, которую забывает ГУЛАГ: что раба неэкономично оставлять голодным, надо кормить. Вся история – одно сплошное...ядство! Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития. И некуда звать.

В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подёргивание неверия на губах – таких молодых!

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызвали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

– Хочу тебя предупредить, Ростислав, – очень тихо возражал Нержин, склоняясь почти к уху соседа. – Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма, – пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью – потому что люди ведь не могут остановиться, и значит, не могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих...

– Хотя бы в болото? Лишь бы перетереться? – со злостью возразил Руська.

– Хотя бы... Ч-ч-чёрт его знает, – заколебался Глеб. – Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен, хотя и особенно трудно прививается. Но скептицизм не может стать твёрдой землёй под ногой человека. А земля всё-таки – нужна?

– Дай ещё папиросу! – попросил Ростислав. И закурил нервно. – Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться! на историка! – раздельным громковатым шёпотом говорил он. – Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы учёным, допустим даже не продажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы пухлый том. С какой-то ещё восьмьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гелльетами. Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и ещё больше умных книжек – какой дурак всё это будет читать?! Как это ты приводил? – «То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, ещё большими знатоками, как призрачное», да?

– Вот-вот, – упрекнул Нержин. – Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли?

– Да, да, любить! – торжествующим хриплым шёпотом перехватил Руська. – Любить! – но не историю, не теорию, а де-вуш-ку! – Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть. – А чего лишили нас, скажи? Права ходить на собрания? на политучёбу? Подписываться на заём? Единственное, в чём Пахан мог нам навредить, – это лишить нас женщин! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить, – бил он себя в грудь, – что такое женщина для арестанта?

– Ты... не кончи сумасшествием! – пытался обороняться Нержин, но самого его окатила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, о её обещании в понедельник вечером... – Выбрось эту мысль! На ней мозг затемнится. – (Но в понедельник!.. Чего совсем не ценят благополучные семейные люди, но что подымается ознобляющим зверством в измученном арестанте!) – Фрейдовский комплекс или симплекс, как там его, чёрта, – всё слабей говорил он, мутясь. – В общем: сублимация! Переключай энергию в другие сферы! Занимайся философией – не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра, – и от этой мысли, до ужаса сладкой, отнялась речь, не хотелось продолжать.)

– У меня мозг *уже* затемнился! Я не засну до утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в руках у тебя... Чтобы... А, да что там!.. – Руська обронил ещё горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернулся, шлёпнулся на живот и дёрнул одеяло на голову, стягивая с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кроватей вниз, на Потапова.

Философию представлял он Руське как убежище, но сам в том убежище был давно. Руську гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать и вот эти горячие шквалы затмений налетали, отнимая разум? – а он себя струнил, передавливал и пятаком поросычьим тыкался, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы до женитьбы, свою невозвратимую, не тем занятую юность, горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Ещё его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! только на тюремном полу перебрал и осознал, – и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир – жгли его тут напрокол.

Ну ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника.

Глеб наклонился к уху соседа:

– Руська! а у тебя – что? Кто-нибудь есть?

– Да! Есть! – с мукой прошептал Ростислав, лёжа пластом, сжимая подушку. Он дышал в неё – и ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнувшей в тюрьме, – всё накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал – «есть», и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое: не поцелуй, даже не обещание, было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе, – и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою как необыкновенную. Ничего ещё не произошло между ними, и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него – есть.

– Но кто она, слушай? – допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

– Тс-с-с... Клара...

– Клара?? Дочь прокурора?!!

16. Тройка лгунов

Начальник Отдела Специальных Задач кончал свой доклад у министра Абакумова. (Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950 году; принципиальный же план политических убийств был утверждён самим Сталиным ещё перед уходом в отпуск.)

Высокий (ещё увышенный высокими каблуками), с зачёсанными назад чёрными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирал локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал в теннис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин, и высокое пристенное зеркало; потолок – высокий, лепной, на нём люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить всё, как было, только зелёный цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходившие на площадь и не открываемые никогда. Часы тут были: стоячие, отменные футляром; и накаминные, с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что ещё двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане (с сигналом).

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед. Даже в кабинетах простых следователей он был изображён много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь Человечества был выписан кремлёвским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью – от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола, – Абакумов ещё и на столе держал барельеф Сталина на стоячей родонитовой плите.

А ещё на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник смертного отдела ушёл – во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Селивановский, начальник Отдела Специальной Техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же Отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Селивановского.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперчекистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом.

Когда Селивановский сел – передним оказался уже Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три, – и что-то симпатичное показалось ему в нём. Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его, изрытое оспой щедрее, чем у Вождя, было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

– Ты – кто?

– Я? – перегнулся Осколупов, удручённый, что его не узнали.

– Я? – выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям, – и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился.

– Ты, ты, – подтвердительно просопел министр. – Объект Марфино – твой, значит? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

– В общем, так... Вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата? – и угрожающе предупредил: – Не врать! Вранья не люблю!

Именно к этому вопросу и готовились три высоких лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперёд из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнёс:

– Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полковник! – (Абакумов больше любил так, чем «генеральный комиссар».) – Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

– Что мы? – на собрании, что ли? Что мне вашими усилиями? – задницу обматывать? Я говорю – к числу к какому?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самым тоном своим и негромкостью голоса подчёркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

– Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырёхсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

– Херц, херц! Ноль целых, херц десятых – вот это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль целых? Ты мне аппарата дай – **два! целых!** Когда? А? – и обвёл глазами всех троих.

Теперь выступил Селивановский – медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик:

– Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семёнович. Двусторонние переговоры ещё без абсолютной шифрации...

– Ты что из меня дурочку строишь? Как это – без шифрации? – быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли (а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками), – ему вполне хватало его четырёхклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джитсу и тренировался только в залах «Динамо».

Когда же, в годы расширения и обновления следовательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведёт следствие, руками длинными ловко и лихо поднося в морду, и началась

его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а теперь вот и министром, – ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчинённые не могли его дурачить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу – как растворилась высокая дверь и в неё без стука вошёл Михаил Дмитриевич Рюмин – низенький, кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого всё министерство называло *Мишкой*, но редко кто – в глаза.

Он шёл, как котик, беззвучно. Приблизясь, невинно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Селивановским (тот привстал), подошёл к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухлыми ладонями чуть поглаживая желобчатый скос столешницы, задумчиво промурлыкал:

– Вот что, Виктор Семёныч, по-моему, это задача – Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать гблоса? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трёх представителей отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком – бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одутловатый, с обиженными губками, он сколько мог донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого отдела. И тут Рюмин нашёл себя! – с усердием и успехом (может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь?) он освоил *намотку дел*. Даже с усердием избыточным – так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная Органам прокуратура тут не выдержала и – не остановила дела, нет! – но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецделам центрального аппарата СМЕРШа. С тех пор звезда его только взлетала (на гибель Абакумову, но оба ещё не знали о том).

– Я их и без этого разгоню, Михал Дмитрич, поверь. Так разгоню – костей не соберут! – ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

– Но что ты хочешь – я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного – как узнать? Где его искать?

– Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

– Ну, а ты – арестовал кого-нибудь?

– А как же? – сладко улыбнулся Рюмин. – Взяли четверых около метро «Сокольники».

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты – освобождать не полагается. Да может кого-то из них по этому же делу и придётся оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

– Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве.

– Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить? – возмутился Абакумов. – Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!

– Нельзя, Виктор Семёныч, – благорассудно возразил Рюмин. – Это министерство – не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти – кто? и как можно скорей.

– Гм-м... – подумал Абакумов. – Так что с чем сравнивать, не пойму?

– Ленту с лентой.

– Ленту с лентой?.. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать. Селивановский, сможете?

– Я, Виктор Семёныч, ещё не понимаю, о чём речь.

– А чего тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверно, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков *там*. Насчёт атомной бомбы. Вот угадай – молодчик будешь.

Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает – не стоит браться. Селивановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей, и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос в трёх соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника отдела. С тех пор как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других – иначе б его не назначили. И хотя он в своё время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчинённых мог понимать дело лучше его – разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем, тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, всё записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного учёного. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя учёным.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

– Товарищ министр! Так это мы – можем!

Селивановский удивлённо оглянулся на него:

– На каком объекте? Какая лаборатория?

– Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж – по телефону? Ну!

– Но Марфино выполняет более важную задачу.

– Ничего-о! Найдём людей! Там триста человек – что ж, не найдём?

И вперился взглядом готовности в лицо министра.

Абакумов не то что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался, – беззаветно готовый рубить в крошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

– Молодец! – одобрил он. – Так и надо рассуждать! Интересы государства! – а потом остальное. Верно?

– Так точно, товарищ министр! Так точно, товарищ генерал-полковник!

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности рябого генерал-майора. Рассеянно глядя на Селивановского, он сказал:

– Так утром я к вам пришлю.

Переглянулся с Абакумовым и ушёл, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

– Ну, так когда же? Вы меня манили-манили – к первому августа, к октябрьским, к новому году, – ну?

И упёрся глазами в Яконова, вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке шеи. Он повёл ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд – и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что и ещё более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы, не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые, щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побеждённых и ещё только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год.

Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчёт был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет – а пока испытают общее качество, да пока дойдёт дело до серии, да пока повезут аппараты в наши посольства за границу, – за это время ещё пройдёт полгода, наладится и шифрация, и качество звучания.

Но Яконов знал, что мёртвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовёт Берию и спросит: какой дурак делал эту машину? Убери его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым ээком.

И, под взглядом министра почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконов преодолел жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха в лёгкие, ахнул:

– Месяц ещё! Ещё один месяц! До первого февраля!

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к серякам. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов – сами были виноваты Селивановский, Осколупов и Яконов. Если так трудно – зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым – упёрся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про *запас* и перед Сталиным всегда набавлял ещё пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого **марта**. Так что на худой конец можно было разрешить ещё месяц, – но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

– Это как – месяц? По-человечески месяц или опять брешете?

– Это точно! Это – точно! – обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Марфино и сам браться за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

– Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию. Селивановский – будет?

– Будет! будет!

– Осколупов! Голову оторву! Будет?

– Да товарищ министр, да там всего-то осталось...

– А – ты? Чем рискуешь – знаешь? Будет?

Ещё удерживая мужество, Яконов настоял:

– Месяц! К первому февраля.

– А если к первому не будет? Полковник! Взвесь! Врёшь.

Конечно, Яконов лгал. И конечно, надо было просить два месяца. Но уж открыто.

– Будет, товарищ министр, – печально пообещал он.

– Ну, смотри, я за язык не тянул! Всё прошу – обмана не прошу! Идите.

Облегчённые, всё так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.

Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.

Едва их вывели, как в кабинете было доложено:

– Инженер Пряничков!

17. Насчёт кипятка

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Селивановского был вызван Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Марфино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ-ка Бобынин, потом зэ-ка Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться – по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке её так и называли: «сдвиг фаз у Валентули».

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стёклами «победы». После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Марфина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к весёлой суе привокзальной площади, потом к неоновым витринам Сретенки. Для Прянчикова не стало ни шофёра, ни двух сопровождающих переодетых, – казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его лёгких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы ещё не видел ни один арестант за всю историю шарашки!

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключённых, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет и женщины изнывают от избытка никем не разделённой, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбуждённая столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки – и вибрирующие чувства Валентина воспринимали, как сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля его обдаёт удары, удары, удары духов проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы, – Валентину впору было расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он сидит ни за что! После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той изящной жизни, которою ему никак не доводилось пожить то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, ожидая в какой-то комнате, Прянчиков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпускали нехотя.

Молодой лощёный подполковник попросил его следовать за собой. Прянчиков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел ещё таким щуплым, как вступая в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровождающий оставил его.

Прянчиков даже не догадался, что это – кабинет (так он был просторен) и что пара золотых погон в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его всё ещё шли ночные женщины и проносилась ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Он не удивился бы, если б сюда вошли разряженные женщины и начались бы танцы. Нелепо было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещенной синею лампочкой, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая и мужчины бродят в одном белье.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковёр был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой стороне висилось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам! Для зэка, кому не всегда доступно дешёвенькое зеркальце меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало – праздник!

Прянчиков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошёл к нему очень близко, с удовлетворением рассмотрел своё чистое, свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и в профиль. Чуть прошёлся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным и придя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Прянчиков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог из одной половины мира любого посадить в тюрьму, а из другой половины – любого убить, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Прянчиков подошёл и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

– Вы – инженер... – Абакумов сверился с бумажкой, – Прянчиков?

– Да, – рассеянно подтвердил Валентин. – Да.

– Вы – ведущий инженер группы... – он опять заглянул в запись, – аппарата искусственной речи?

– Ка-кого аппарата искусственной речи! – отмахнулся Прянчиков. – Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. *Voice coder*.

– Но вы – ведущий инженер?

– Вообще, да. А что такое? – насторожился Прянчиков.

– Садитесь.

Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

– Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер – когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно два месяца? Скажите, не бойтесь.

– Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! – звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожаные спинки и всплеснул руками. – Да вы что??! Что вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

– У вас клочок бумажки найдётся? Да вот! – Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался – столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не слушая.

– Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник, – почти захлёбывался Прянчиков от напора желая всё скорей высказать. – И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Чёрт! Как вы пишете таким гадким пером?... Воспроизведению путём суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

– Подождите, – опомнился Абакумов. – Вы мне только скажите одно: **когда** будет готово? **Готово** – когда?

– Готово? Хм-м... я над этим не задумывался. – В Пряничкове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться. – Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идём на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых...

– Ну, к какому числу? к какому? к первому марта? к первому апреля?

– Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем загадывать! – уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав. – Я вам сейчас всё объясню. Вы сами поймёте и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, заторможенным взглядом упревшись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощёный подполковник и пригласил Пряничкова к выходу.

Пряничков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жаловаться, добиваться... Он круто обернулся и направился назад:

– Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам...

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, – и в этот короткий неловкий момент из памяти Пряничкова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как назло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

– Например, насчёт кипятка! С работы поздно вечером придёшь – кипятка нет! чаю нельзя напиться!..

– Насчёт кипятка? – переспросил тот начальник, вроде генерала. – Ладно. Сделаем.

18. Сивка-Бурка

В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошёл Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошёл, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим стиранный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Пряничковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему: «Встать!» – а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

– А почему вы без разрешения садитесь?

Бобынин, едва скосясь на министра, ещё кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

– А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять – лучше, чем ходить, сидеть – лучше, чем стоять, а ещё лучше – лежать.

– Но вы представляете – кем я могу быть?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:

– Ну – кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?

– Вроде **кого**???

– Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошёл.

По лицу Абакумова прошло движение, отдалённо похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

– Так вы что? Не видите между нами разницы?

– Между *вами*? Или между *нами*? – голос Бобынина гудел, как растревоженный чугу́н. – Между *нами* отлично вижу: я вам нужен, а вы мне – нет!

У Абакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, несолидно. Он понял, что арестант этот – трудный.

И только предупредил:

– Слушайте, заключённый. Если я с вами мягко, так вы не забывайте...

– А если бы вы со мной грубо – я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

– Сколько нужно – и вас заставим.

– Ошибаетесь, гражданин министр! – и сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью. – У меня ничего нет, вы понимаете – **нет ничего!** Жену мою и ребёнка вы уже не достанете – их взяла бомба. Родители мои – уже умерли. Имущества у меня всего на земле – носовой платок, а комбинезон и вот бельё под ним без пуговиц, – он обнажил грудь и показал, – казённое. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне от роду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима, – чем ещё можете вы мне угрожать? чего ещё лишить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бобынину:

– Вот, возьмите этих.

– Спасибо. Не меняю марки. Кашель. – И достал «беломорину» из самодельного портсигара. – Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не **всё**. Но человек, у которого вы отобрали всё, – уже неподвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

– Инженер Бобынин! Вы – ведущий инженер установки «клиппированная речь»?

– Да.

– Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?

Бобынин вскинул густые тёмные брови:

– Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?

– Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова?

– К февралю? Вы что – смеётесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку, – ну, что-нибудь... через полгодика. А абсолютная шифрация? Понятия не имею. Может быть – год.

Абакумов был оглушён. Он вспомнил злобно-нетерпящее подёргивание усов Хозяина – и ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Всё опустилось в нём, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.